

Михаил Гирели

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА ЗВЕЗДОЧЕТОВА

ОТ АВТОРА

Предлагаемый роман принадлежит к числу так называемых научно-фантастических романов, где главным действующим лицом являются не люди, а события научного характера, научные открытия, теории и т. д.

Но так как подобного рода произведения — суть все же романы, то они и обрамляются фантастикой, не переходящей, однако, за границы дозволенного. Западно-европейская литература очень богата подобного рода произведениями (Уэльс, Жюль Верн, Стивенсон, Хаггард, Леблан и др.).

Наша литература, наоборот, ими крайне бедна. Однако такого рода романы ценны уже потому, что знакомят публику, в самом доступном и популярном виде, со многими научными вопросами, уже разрешенными или долженствующими быть разрешенными в будущем.

Эта мысль, как нельзя лучше, иллюстрируется моим романом.

Выйди моя книга в свет два года тому назад

(т. е. тогда, когда она была написана), аппарат, изобретенный профессором Звездочетовым, мог показаться бы чудовищно-фантастическим, тогда как в настоящее время ничего «чудовищного» в нем уже нет, благодаря последним работам нашего академика профессора Лазарева, 1 —

¹ Работы физика, биофизика П. П. Лазарева (1878–1942) привлекали в те годы внимание и других фантастов. Приведем характерный отрывок из «Приключений доктора Скальпеля и фабзавука Николки в мире малых величин» (1924) В. Гончарова:

— Да знаете ли вы, молодой человек, что ваше чтение мыслей — подтверждение слов, изложенных нашим академиком П. П. Лазаревым в «Ионной теории возбуждения»?

[...]

— Так знайте, мой друг, что наш почтеннейший академик, директор биофизического института в Москве, профессор П. П. Лазарев в означенном своем труде на 128–129 страницах, и еще в «Физико-химических основах высшей нервной деятельности» на страницах 46–47...

[...]

Так вот: профессор Лазарев, установивши, что во время психической деятельности в мозгу человека возникают прерывистые химические реакции, сделал предположение, научно-обоснованное, что эти реакции сопровождаются образованием электродвижущей силы в мозгу. А эта последняя, передаваясь на поверхность головы, возбуждает в окружающей среде электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью света... Лучше я приведу вам его собственные слова. Он говорит:

сконструировавшего аппарат, регистрирующий мысли человека.

Все же я должен предостеречь читателя от некоторых неправильных выводов, которые он, паче чаяния, может сделать, прочтя мой роман поверхностно и небрежно.

Роман мой, как бы фантастичен он не казался, прежде всего строго материалистичен и научен.

Мы не можем выкинуть из нашего обихода некоторые слова, как, например, слово «душа», но мы можем и должны придать этим словам, на основании науки, новое значение и смысл.

И если и в моем романе встречается слово «душа», то не потому, что душа существует, а именно потому, что этому слову мною придается

«Так как периодическая электродвижущая сила, возникающая в определенном месте пространства, должна непременно создавать в окружающей воздушной среде электромагнитные волны, то мы должны, следовательно, ожидать, что всякий наш двигательный или чувствующий акт, рождающийся в мозгу, должен передаваться в окружающую среду в виде электромагнитной волны».

И не исключена возможность (я не помню, как это сказано у Лазарева), что химические реакции, протекающие в мозгу одного человека, через посредство электромагнитных волн, возбуждают к деятельности мозг другого человека, порождая в нем те же химические реакции, и, следовательно, те же мысли, те же чувствования...

новое значение, чисто материалистического характера. Впрочем, читатель убедится в этом сам.

В области философии я также не выходил за рамки последних научных достижений, главным образом естественного характера — Эйнштейна, английских физиков и наших русских естественников. Если мой роман будет прочитан не только как роман, но и заинтересует читателя последними достижениями в области естественных наук и заставит его познакомиться с материализмом в широком смысле этого слова, то я сочту свою задачу выполненной, а книгу свою — принесшей читателю пользу.

Автор.

ЧАСТЬ I

I

Профессор Звездочетов глубоко задумался.

Рассеянно и не зная, зачем он это делает, он снова наложил снятую им было уже хлороформенную маску на лицо только что оперированной им больной — уже забинтованной и убранный и начавшей понемногу просыпаться от наркоза.

Ему показалось, что он сам просыпается после тяжелого искусственного сна.

Больная лежала на покрытом гладкой эмалью операционном столе, на котором все слилось в один цвет — белый.

Белизна простыни переходила непосредственно в белизну стола, а белизна стола безо всякой резкой границы, переходя через белизну резиновой подушки, оканчивалась еще более безупречной белизной молодого женского лица.

Черных волос больной не было видно, ибо они были тщательно убраны в охватившую всю голову и даже верхушки ушей белоснежную косынку.

Только узкие голубые вены, матовой синевой просвечиваясь сквозь тонкую бескровную кожу, змеились зловеще и неестественно по еще бесчувственному и мертвому лицу.

Как только маска закрыла собою нос и рот больной, белизна лица оперированной внезапно усилилась снова и голубые вены ярче обозначили свои извилины.

Старший ассистент Звездочетова, доктор Панов, осторожно дотронулся до руки своего учителя:

— Николай Иванович! зачем вы снова надели маску? Операция окончена, и вы приказали принести кислород...

Звездочетов вздрогнул. Сквозь начинавшую морщиться кожу его лица проступил едва заметный румянец не то стыда за свою рассеянность, не то с трудом сдерживаемого гнева и раздражения.

Резко сорвав маску с лица больной, сразу задышавшей ровнее и глубже, он бросил ее на рядом стоявший столик, где в беспорядке валялись блестящие и холодные, запачканные густой, липкой, уже потемневшей и свернувшейся кровью инструменты, строго посмотрел сквозь взлохмаченные и сдвинутые брови на стоявшую рядом безмолвную, бесстрастную и холодную, как изваяние, сестру и, резко повернувшись на каблуках, слегка подергивая углами тонких губ, вышел из операционной.

II

Сегодня с ним это случилось во второй раз...

На прошлой неделе, сосредоточенно наблюдая за игрою лицевых мышц захлороформированного больного, он так хорошо наложил повязку, что она тотчас же и сползла, причем Панов обнаружил настолько мало такта, что в его присутствии приказал сестре перебинтовать оперированного.

Но кто же был виноват в этом?

Вот уже целый месяц, как длится это состояние.

Он бродит по этим бесконечным палатам, наполненным живыми трупами, сам словно оживший труп, входит в эту ослепительно белую операционную, насквозь пропитанную сладким, легкую тошноту и головокружение вызывающим запахом хлороформа и эфира, мучительно пристально вглядывается в лица усыпленных больных, сам словно находясь под таинственной властью наркотики.

Никаких интересов не проявляя больше ни к технике операции, ни к исключительности случая, ни к ходу болезни, он только жадно и настойчиво следит за выражением лиц вдохнувших в себя убийственную силу хлороформа больных.

Только лицо интересует его.

Бледное, подергивающееся, искаженное, отражающее что-то, чего реально не существует. Сны.

Как это началось? С чего?

Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю!

Звездочетов сидит у себя в кабинете и, не сняв халата, тяжело опустившись в кресло перед письменным столом, сжимает и трет свой высокий, покатый лоб тонкими, длинными, нервными пальцами.

«Тут что-то есть... что-то есть», — мучительно искривляется линия рта в жуткую извилину тяжелого воспоминания, но вспомнить

Звездочетов не может.

Не может.

Рассеянно бегают взгляд по расставленным в беспорядке банкам с притертыми стеклянными пробками, наполненными спиртом и формалином, в которых плавают лиловато-серые куски человеческого мяса, миомы, липомы, саркомы², а из самой ближней банки, сквозь флюоресцирующий слой жидкости и толстые стеклянные покровы, искажаясь и оживая, улыбается Звездочетову одним-единственным, громадным глазом на гигантской голове, покоящейся на тоненькой шейке и неразвитом туловище, перепоясанный оборванной пуповиной пятимесячный плод, извлеченный им из фаллопиевой трубы одной из своих бесконечных пациенток.

«Это нервы, — думает профессор. — Это нервы и явное переутомление. Пятнадцать операций в день и пол-ночи — прием у себя на дому. Надо просто отдохнуть». А белесый глаз не познавшего тайны жизни заспиртованного плода лукаво щурится и подмигивает:

«Врешь, Николай Иванович! Это все не то, не то, не то!»

² Различные виды доброкачественных и злокачественных опухолей.

— Так что же это? — с силой ударяет кулаком по столу Звездочетов так, что звенят банки, а лукавый плод важно всплывает кверху.

Профессор вздрагивает от им же произведенного шума, — встает, снимает халат, вешает его на один из гвоздей у двери, машинальным жестом поправляет галстук и, снимая белую хлопинку ваты с рукава, выходит из кабинета.

У дверей дежурит, ожидая этого выхода, старшая сестра с целой кипой бумаг в руках, — скучных историй болезней и счетов, приготовленных на подпись профессору, и поднимает на него свои спокойные, холодные глаза.

Эти глаза, когда встречаются с глазами профессора, в бездонной глубине своей, так, что это почти и незаметно даже, загораются каким-то несвойственным им огнем не то любовного восторга, не то рабского поклонения.

Звездочетов морщится.

— Я, Софья Николаевна, обхода сегодня делать не буду. Пусть Панов это сделает за меня. Я уезжаю.

Глаза сестры гаснут, оставаясь по-прежнему спокойными и холодными.

— Слушаюсь.

Профессор проходит мимо. Ему приходится идти по длинному коридору. Навстречу ему несут

на громадных подносах высокие эмалированные миски с дымящимся супом для больных.

Час обеда.

Машинально, по многолетней привычке, он останавливает одну из сиделок и пробует всегда пахнущей оловом и грязным полотенцем ложкой пищу.

Чуть-чуть. Глоточек.

— Раздавайте, — говорит он, а сам думает: — «Как можно есть эту гадость? Карболовая кислота, сдобренная касторовым маслом...»

Через стеклянные двери палат он видит больных, тощих и серых, скучных стариков и старух, преждевременно состарившихся молодых женщин и девушек и вялых, апатичных, тоскующих детей.

Все в одинаковых халатах, все безличны, безымянны, все мертвы и отличаются друг от друга только латинскими надписями, написанными вместо фамилий над изголовьями неуютных кроватей: «Paralysis progressiva» «Dementia pгаесох», «Lues cerebri»...³

«Nomina sunt odiosa»⁴, — почему-то

³ Прогрессивный паралич, преждевременная деменция, сифилис мозга (лат.).

⁴ «Имена ненавистны», «Не будем называть имен» (лат.).

вспоминает Звездочетов и торопится к выходу.

III

Доктор Панов давно уже заметил резкую и необъяснимую перемену своего учителя.

«Дальше так не должно и не может продолжаться», — думал он, тщательно намыливая в перевязочной свои белые, пухлые руки большим куском желтого, вонючего мыла, пропитанного каким-то дезинфицирующим началом.

«Вчера повязка, за которую начинающую сестру в сиделки перевести нужно, сегодня маска с хлороформом вместо кислорода, а завтра, чего доброго, профессор проведет своим ножом страшную черту по совершенно здоровому органу...»

Панов принадлежал к числу людей простых, не мудрствующих лукаво, не задающихся неразрешимыми вопросами, а просто и естественно, с достаточным научным основанием принимающих жизнь таковою, какова она есть.

Философия была ему совершенно чужда и даже своих ученых коллег, невропатологов и психиатров, рискнувших за последнее время отказаться от субъективного метода

невропатологии и дерзнувших пойти по скользкому пути объективной психологии и анализа, он чуждался и недолго любил.

— Это не наука — помилуйте, — говорил он. — Познание свойств мира, когда свойства самого субъекта совершенно непознаваемы. Это опасный уклон, неминуемо ведущий к эмпиризму, в лучшем случае, и обыкновенно прямо к шарлатанству. Не ученые, а какие-то бродячие гипнотизеры, гастролирующие факиры и жрецы черной магии...

В комнату вошла старшая сестра.

— Вот, доктор, — сказала она своим унылым, покорным и бесстрастным голосом, протягивая Панову папку с бумагами, — профессор снова отказался делать обход и заняться бумагами. Это предстоит сделать вам.

В десятый раз снимая густую, пузырчатую пену со своих красивых рук, Панов нахмурил брови и, подставляя руки под горячую струю воды, спросил:

— Николай Иванович уже ушел?

— Да.

— Он не говорил, когда приготовить Андрееву к операции?

— Нет.

Панов неизвестно на кого рассердился.

— Вы знаете, Софья Николаевна, дисциплина,

конечно, превосходная вещь, и я сам поставил бы на должное место всякого, кто осмелился бы нарушить ее, но... однако... всему есть границы, понятно. Ваши «да» и «нет» могут вывести иногда из терпения. Мы сейчас не у постели больного, время как бы не служебное, так сказать, я мою руки. Вы... одним словом, меня удивляет ваша холодность и безразличие ко всему.

Панов снял полотенце и стал вытирать руки.

Софья Николаевна немного виновато посмотрела на его дымившиеся от горячей воды руки, подумала, что такие руки одинаково сильно способны были бы как приласкать, так и ударить и, слегка передернув плечами, ответила:

— Мне просто — скучно.

— Я не совсем понимаю вас, — удивленно поднял Панов на нее свои нахмуренные брови.

— И, однако, понимать тут особенно нечего. Я отупела здесь у вас окончательно. Я потеряла себя. Здесь нет людей. Здесь трупы.

— Да что вы все, и впрямь рехнулись, — сердито закричал на нее Панов. — Я имел в виду поговорить с вами насчет одного обстоятельства, даже совета вашего хотел спросить, но, к сожалению, вижу, что вы сами нуждаетесь в них...

— Вы, может быть, сердитесь на меня за вчерашнее, — с едва уловимой иронией тихо спросила Софья Николаевна.

— Забудем это.

Панов покраснел.

Вчера, после вечернего обхода, он вошел в комнату Софьи Николаевны и попросил напоить себя чаем. Софья Николаевна каким-то странным инстинктом сразу поняла причину его посещения, приготовила чай и долго слушала, как он неестественно и неумело врал, уверяя, что наелся где-то соленых грибов и сейчас ему смертельно хочется пить и, наконец, кончил тем, чем должен был кончить, грубо и неуклюже обнял ее и, давя ее грудь своими руками, трясущимися пальцами расстегивая бесчисленные кнопки ее платья, говорил страстным и театрально-сдавленным шепотом:

— О, не отталкивайте меня, поверьте, я уже давно, давно люблю вас... вы должны быть моей.

Софья Николаевна не сопротивлялась, наоборот, чтобы он не разорвал ей платья, она даже помогла ему расстегнуть один особенно упрямый крючок, но ей было смешно и противно.

Ее тошнило от этой шаблонщины и той удивительной одинаковости, с которой все перебивавшие в клинике молодые ассистенты и даже студенты выпускных курсов приходили к ней, дрожащими руками сжимали ее груди, требовали любви и брали ее тело. Но она не сопротивлялась никому, отдаваясь им всем ради какой-то ей одной

известной цели, оставаясь холодной и безразличной к их грубым ласкам.

Их она никогда не могла понять.

Как могли они, эти люди, находить еще прелести в женском нагом теле, когда каждый день, каждый час им приходилось видеть сотни обнаженных тел, покрытых экземами, прыщами, болячками, язвами, всегда так отвратительно пахнущих человечиною и специфическим острым женским потом, когда каждый миг жизнь открывала им их слепые глаза на свое вечное безобразие и уродство.

Неужели это так сильно в человеке? Ее цель была — другая.

И она достигала ее каждый раз, когда ее брал мужчина, испытывая почти садическое наслаждение, но не тела, а своей души...

И, отдаваясь Панову, грубо повалившему ее на диван, безо всякого сладострастия, как отдавалась уже десятки раз всем этим господам, искавшим в науке Истины, а в женщине Смысла, она преследовала ту же свою затаенную цель и снова с восторгом достигала ее.

Она видала над собою другие глаза, те, что, встречаясь с нею, зажигали в глубине ее сознания чувство не то любовного восторга, не то рабского поклонения.

Она чувствовала вокруг своего тела иные

руки, с длинными, тонкими и нервными пальцами.

Какое это было наслаждение...

Софья Николаевна поднялась с дивана только тогда, когда объятия любовника ослабели, глаза его стали глупыми и стеклянными, вытерла носовым платком свое лицо, влажное от чересчур слюнявого рта Панова, привычным движением поправила волосы и вышла из комнаты.

До самого утра она просидела у кровати тяжело больного, хрипевшего и упрямо не желавшего развязаться с обожаемой жизнью, уставив глаза в одну точку и оживляя ее смутными воспоминаниями.

Панов ушел из клиники, не заходя в палаты и не простившись с нею.

Он был слегка сконфужен, он даже недоумевал, как это все просто и скоро случилось, он готовился к борьбе, сопротивлению, может быть, даже пощечине...

«Вот, пойми женщину», — мысленно разводил он руками, но долго не задумывался над этим.

Чувство самца было в нем удовлетворено и он, принимавший жизнь таковою, какова она есть, еще не успев дойти до дома, успокоился и настолько пришел в себя, что утром, встретившись с Софьей Николаевной в палате, не только не смутился, но даже просто забыл, что вчера

произошло между ними. И странно: не он один так быстро забыл свою связь с этой женщиной.

Все ее любовники уже на другой день не помнили своей любовницы и продолжали обходиться с нею так, как обходились до связи.

Может быть, бесстрашие Софьи Николаевны производило это действие или то, что все они, сколько их ни было, совершенно не существовали для нее как таковые и являлись только простыми средствами к достижению ей одной ведомой цели?

Вот и сейчас Панов живо припомнил сцену в комнате сестры, свою плохо замаскированную ложь, крепкую, круглую грудь молодой женщины, выбившуюся из-под кофточки, высоко обнаженную под поднятой юбкой розовую ногу, стянутую выше колена глубоко врезавшейся в упругое тело круглой подвязкой и свою неловкую и смешную позу, когда он склонился над ней... но никакого чувства Панов к этой женщине не испытывал уже — ни стыда, ни нового желания...

В ответ на ее вопрос он дружески взял ее за руку и сказал:

— За вчерашнее не я, а вы должны сердиться... Впрочем, что было, того не вернешь. Забудем это. В настоящее время я действительно имел в виду просить вашей помощи в одном деле.

Возвращаясь к своему хроническому спокойствию и бесстрастности, Софья Николаевна

ответила:

— Слушаюсь.

— Погодите, — предупредил Панов. — Одно условие только. Бросьте ваш тон подчиненной. Дело серьезное и щекотливое. Поймите, что с подчиненной я не стал бы говорить о нем. Я обращаюсь к вам, как к другу, помощнику и человеку. Разговор будет о Николае Ивановиче...

Софья Николаевна слегка подняла опущенные глаза.

— Профессоре?...

— Да. Пройдем в кабинет, я подпишу вам бумаги, а потом поговорим. Уверяю вас, мне не с кем больше посоветоваться.

IV

Панов, не глядя, подписал последний счет, обеими руками отодвинул вглубь стола образовавшуюся гору бумаг и, повернувшись к Софье Николаевне, мягко сказал:

— Ну вот, голубчик. Все. Теперь садитесь вот сюда, поближе, и постарайтесь меня понять. Почему я советуюсь с вами? Это ясно. С кем мне советоваться? Мои коллеги по больнице в отпуску и, если правду сказать, я очень рад этому. Это чересчур умный народ. Они очень легко выносят сор из избы. Сейчас же они подняли бы шум и

сумятицу со своей психологией, субъективизмом, теорией относительности и прочей галиматьей. А дело скромное. Щекотливое. Его надо замять, не дать возможности разгореться... Интересы нашей клиники, я полагаю, вам дороги так же, как и мне, интересы клиники и... доброе имя профессора Звездочетова.

Я чувствую в вас сильного и здорового душой человека. Профессор болен... это настолько ясно, что останавливаться над этим не приходится. Его временно надо отстранить от ведения дела, ибо его рассеянность начинает становиться не безразличной для жизни вверенных ему больных.

Я слишком ценю своего учителя, чтобы допустить его имя вплести в какой-нибудь скандал. Для меня ясно, что Николай Иванович, не по силам работающий уже больше года — надорвался.

Ему необходим отдых.

Однако, его настойчивость вам известна. Ее-то нам и надлежит сломить.

Во что бы то ни стало надо посоветовать ему бросить всякую работу и хорошенько отдохнуть. Иначе я не отвечаю за него. Я вам это говорю, как его товарищ, ученик и врач.

— Но что же могу я сделать? — спросила Софья Николаевна.

— Многое! Вы должны помочь мне. Профессор очень ценит вас, как работника и

человека. Я это знаю. Вот почему я и обращаюсь именно к вам. Вашей безупречной выдержкой и спокойствием вы можете оказать, не предполагая даже, огромное влияние на его развинченный во всех своих нервных основах организм. Я его буду обрабатывать, я подготовлю почву дома, переговорив с его женой, а вы будете методически, оказывая на него давление в желаемом смысле, направлять его желания к определенной цели — отдыху! Поняли? Согласны?

Софья Николаевна вздохнула и задумалась.

Она видела перед собой вспухшую, синюю конечность одного упрямого старика, покрытую язвами и зловонную.

Это была гангрена.

Но упрямый старик так бешено боялся распротиться не только с жизнью, прожитой в нищете и пьянстве, но даже с кусочком своего старого, заживо разлагавшегося, больного тела, что не соглашался на операцию.

Так называемая демаркационная линия, т. е. линия, отделявшая больную конечность от еще живой ткани, ползла все выше и выше, а гангрена захватывала все новые и новые участки еще здоровых тканей. Вся прожитая жизнь показалась вдруг Софье Николаевне распространяющей дурной запах, гангренирующей частью ее самой, охватывавшей каждый день все новые и новые

возможности будущих дней ее жизни.

А она, как упрямый старик, цеплялась за эту проклятую жизнь и строила ценности для будущего на основании опыта от гангренирующего прошлого.

В двадцать восемь лет ей стала противна ее скучная, пропитанная запахом лекарств, одинокая жизнь, без любви, без необходимых для выявления высшего духа, чисто мещанских радостей, хотя вокруг было достаточно и морфия, и мышьяка, и кокаина — выбирай только — она продолжала покорно ждать чего-то от будущего, инстинктивно веруя, что и она будет когда-нибудь призвана к делу и ей объяснят ее значение, как участницы в общей жизни.

«Вот... приближается... — думала она. — Теперь или никогда». Момент подходящий и он сам идет к ней навстречу. Им надо воспользоваться. Больше молчать она не может.

Аналогичные переживания она давно угадывала в профессоре Звездочетове, конечно, только в большем, может быть, космическом даже масштабе гениального ученого и мыслителя, и они были ей так близки, так любовно понятны...

«Теперь или никогда... теперь или никогда!»

Какая безумно-огромная мысль должна была родиться в недрах исполинского мозга профессора, если даже она, маленькая Софья Николаевна, способна была увидеть, как властно и неудержимо

эта мысль вырывалась наружу в каждом движении ученого за последний месяц?

Николай Иванович переутомился... О, жалкий пигмей, как может переутомиться творческая сила природы?! Как это ты не видишь, господин доктор Панов, что не в переутомлении здесь дело!

Ей давно стало понятным все.

Замкнутый в себе, всегда напряженно ищущий чего-то не в формах, а в причинах, породивших их, человек огромных возможностей и поражающей смелости, в духовном одиночестве влачащий за собою весь ужас несознаваемой человеческой мысли, он, профессор Звездочетов, просто что-то понял за последнее время, какую-то тяжелую мысль осветил пламенем анализа и, прекращая трагические колебания, отчаянно и страстно, дерзко и вдохновенно, решил проникнуть в тайны чего-то.

Она это угадывала. Она это осязала почти.

«Теперь или никогда, теперь или...»

— Однако я дал вам, Софья Николаевна, достаточно времени, чтобы обдумать ответ, — решил, наконец, Панов прервать царившее молчание.

И тогда Софья Николаевна решилась: «Теперь». Ее внезапно осенила какая-то смелая мысль, она резко поднялась с кресла, нервно переставила на другое место банку с одноглазым

зародышем и, вдруг кому-то улыбнувшись, вздохнула полной грудью.

— Хорошо, — сказала она. — Я думаю, мне удастся помочь вам в вашем деле, доктор.

V

Профессор Звездочетов велел следовать своему кучеру за собой, а сам медленными, усталыми шагами двинулся пешком по направлению к дому.

Ему казалось, что в движении он лучше сосредоточит свои мысли и скорее придет к какому-нибудь окончательному решению.

«Теперь я в этом уже почти не сомневаюсь» — шевелились его тонкие, бескровные, немного злые губы, в то время как нахмуренные глаза с напряженным вниманием следили за выступавшим при каждом полном шаге из-под полы пальто кончике правого сапога.

«Сегодняшний наркоз, чуть-чуть не закончившийся трагично (Звездочетов горько улыбнулся) рассеял, как дым, мои последние сомнения. Теперь мне все это ясно. Теперь я на дороге, окончание которой не страшная бездна западни, а стройная система познания нового мира.

«Я вижу новую землю и новое небо»⁵. Однако дорога эта — дорога слез и труда, тяжелый путь опытов, мучительных и рискованных и, как водится, не всегда удачных... Что ж. Чем хуже, тем лучше в конце концов, и глупо поворачивать оглобли назад тогда, когда после сорокавосемилетних поисков дороги, среди болот и дремучих лесов, наконец выезжаешь на ровный путь, в существование которого перестал даже и верить уже! Теперь уже поздно, конечно!»

И вдруг Звездочетову стало по-настоящему страшно, когда он сообразил, каким в сущности простым путем он подошел, если еще не вплотную, то по крайней мере на расстояние волнующей близости к новой, как для него, так и для всего грядущего человечества — Истине.

«Однако, как удивительно проста истина, — со страхом подумал он. — Какой долгий путь прошел человек в своем существовании, ни на минуту не прекращая упрямых поисков истины, которая, как тень, всегда следовала за ним. А стоило ему лишь остановиться — как он умирал. Уже таково свойство его реальной материи — быть в постоянном движении. Однако, познав смерть,

⁵ Цитируется Апокалипсис: «И увидел я новое небо и новую землю» (Откр. 21:1).

человек снова ничто — элемент и неосознанная им истина умирает для него вместе с ним, продолжая реально существовать для других. Увы! Истина в объективе, а в субъективе только отражение ее. И — как глупо искал до сих пор человек этой истины, полагая найти ее в какой-то несуществующей, нереальной, смешной и глупой «душе». Какой мошенник, какой авантюрист внушил ему эту жалкую мысль? Жалкую и вместе с тем страшную, ибо не она ли калечила человека и делала из него трусливого, затравленного зверя, тогда как назначение его быть могущественным вершителем мировых судеб?!

Ах — как это ясно мне — стоит только человеку понять раз и навсегда, что он только материя, как спадут с его рук и ног оковы каторжника и он, освободившись от представления о существовании несуществующей души, станет свободным и счастливым. Каким дурманом окутано человечество еще! Однако — я дурман этот развею. Я докажу ему, что никакой «души» у него нет и быть не может, что истина сокрыта не здесь. Как это ясно мне, как ясно. Просто тот симптомо-комплекс явлений, что принято называть в общежитии этим — ничего не выражающим — словом «душа», есть не что иное, как физиологически отделяемая от всего остального организма некая величина, сама по себе

механически цельная и самостоятельная, появляющаяся во всяком биологическом организме как результат, создаваемый электромагнитными напряжениями живой протоплазмы и разумной комбинацией ее в клетках. Просто электромагнитные поля известного напряжения и реальной силы. Эту «душу» очень легко, при надлежащей постановке опыта и соответствующей предосторожности, изъять из любой живой материи, цветка, животного и человека, не лишая их — их материальных качеств и жизненных, биологических функций. С таким же успехом можно эти электромагнитные поля, т. е. так называемые «души», переносить из одной материи в другую, не нарушая динамичности жизненных функций этих материй, выражающихся в виде дыхания, кровообращения, питания, размножения и воспринимания всех родов механического раздражения, т. е. рефлексий».

Звездочетов остановился, чтобы перевести дыхание.

«Ребенок рождается еще без этой самой «души», ибо он и мать представляли собою во все время утробной жизни младенца один-единственный, связанный друг с другом организм.

Но, с момента самостоятельной жизни, нервный тонус клеточной протоплазмы начинает

создавать уже свои обособленные электромагнитные поля, которые, по мере роста клеток и их окончательного развития, группируясь воедино, создают ему его «душу», иначе говоря, его волевое восприятие внешнего мира. И понятно, что, так как материя передает материи свои наследственные качества, т. е. определенную группировку химических соединений, то и «души» детей похожи на «души» родителей, ибо создающие их комбинации элементов похожи друг на друга. Весь вопрос заключается теперь только в том, чтобы изучить, по каким путям передают клетки это электромагнитное напряжение свое, дабы иметь возможность, не нарушая физиологической целостности организма, выдвинуть из него эту самую его таинственную «душу».

Когда человек умирает, «душа» умирает вместе с ним. Просто выключается поле электромагнитного напряжения вследствие смерти живой протоплазмы, создающей его».

Профессор продолжал думать, шагая и не оглядываясь по сторонам. Мимо него проходили прохожие, на углу толстая баба, торговавшая яблоками, сочно плевала на румяные плоды, быстро вытирая их вслед за этим поднятым подолом своей юбки, и отполированные таким образом ярко блестящие яблоки откладывала любовно в сторону, строя из них красивую пирамиду, из

которой она продавала свои плоды дороже еще неочищенных.

Кто-то больно толкнул профессора в плечо и прошел дальше. Извозчик напротив, подойдя к задним ногам своей лошади и задрав кверху свой старый армяк, мочился прямо на мостовую, а потом долго приседал на корточки, распрямляя затекшие члены.

Маляр, сидя в зыбкой качели на высоте пятого этажа, положил в сторону жирную кисть и, старательно закрывая ладонью руки мигающий огонек спички, раскуривал только что свернутую папироску.

Какая-то накрашенная дама с целой маленькой городской площадью на голове вместо шляпы, в центре которой стоял довольно солидный памятник, а по краям расположились, чередуясь друг с другом, пестрые уголки ботанического и зоологического садов, приветливо кивнула головою профессору, причем все сооружения ее удивительной шляпы пришли в такое веселое настроение, что заметались кто куда горазд, в разные стороны, заставив проходившего старичка неодобрительно покачать головою.

Молоденькая барышня споткнулась о выступавшую плитку тротуара перед самым носом профессора и уронила к его ногам свой портфельчик, из которого не замедлили высыпаться

НОТЫ.

«Requiem» Моцарта и «Колыбельная песня» Чайковского. Профессор хотел помочь нагнувшейся барышне поднять ее ноты, но в это время из соседних ворот выскочил черный стриженный пудель и, пробегая мимо, направляясь к одному ему ведомой цели, наступил своей левой задней лапой на «Requiem» и оставил на нем характерный отпечаток четырехподушчатой песьей лапки.

Барышня сказала тоненьким голоском: «брусь», желая, очевидно, сказать «брысь», перепутывая от огорчения и неожиданности гласные, и профессор Звездочетов прошел мимо, Жизнь шла своим чередом, нормальная, строго-омещаненная, ритмически-размеренная и простая, простая до головокружительной сложности жизнь. Звездочетов улыбнулся.

«И это все — один только я», — подумал он.

VI

Открывшей Звездочетову двери горничной, с нескрываемым изумлением уставившейся на него, до того возвращение его домой в этот час было редкостью, событием из ряда вон выходящим, он коротко и сухо, как бы чего-то стыдясь, сказал:

— Я обедаю дома. Попросите Ольгу Модестовну ко мне в кабинет.

Не давая горничной снятого пальто, профессор повесил его собственноручно на вешалку, как бы желая подчеркнуть этим, что он совершенно здоров и ни в чьих услугах не нуждается.

Аккуратно сложил снятое с шеи кашне и долго царапал носком левого сапога по заднику правого, пытаясь снять отсутствовавшие галоши.

Горничная удивленно вздохнула и вышла из передней. Профессор слегка сжал челюсти, обрисовывая на лице сухие полушария жевательных мышц, прошел из передней в гостиную, а из гостиной вошел к себе в кабинет.

Здесь все было по-прежнему.

Большой письменный стол был уставлен дорогим чернильным прибором из слоновой кости, слева на нем лежал ослепительно белый череп со спиленными теменными костями и, как всегда, жаловался выдающимися челюстями на лихорадку, громадный турецкий диван по-прежнему стоял вдоль почти всей задней стены и приглашал отдохнуть, небольшой стеклянный шкаф с хирургическими инструментами подчеркивал занятия своего хозяина, а мраморный умывальник с белоснежными полотенцами по бокам настолько привычно и буднично приветствовал вошедшего, что Звездочетов, очутившись у себя в комнате, сразу как будто успокоился немного.